
Глава IV
ГАЗЕТНАЯ КАТОРГА

*Утреннее чтение газет — своего рода
реалистическая молитва.*

Гегель

Ненастным мартовским утром Гегель навсегда покидал Йену. Почтовая карета увозила его в Бамберг, где ему предстояло занять пост редактора ежедневной газеты.

Что заставило философа, лишь два года назад получившего звание профессора, покинуть университетский город и отказаться от академической карьеры, которая всегда владела его помыслами? Главную роль сыграли материальные соображения. Отцовское наследство было истрачено, имущество разграблено французами, а на те 100 талеров ежегодного содержания, которые Гёте выхлопотал ему, существовать было невозможно. Владелец «Бамбергской газеты» предлагал половину прибыли, по расчетам это составляло свыше 1300 флоринов в год.

Деятельность журналиста, возможность непосредственно влиять на общественное мнение привлекали Гегеля. И чем больше он укреплялся в решении принять сделанное ему через Нитхаммера предложение, тем тверже чувствовал, что политика — его призвание. Настали новые времена, рушится старый порядок, и долг философа окунуться в практику. Тем более что после начала войны университет в Йене никак не может наладить занятия.

Было еще одно обстоятельство, заставлявшее Гегеля не медлить с отъездом: он стал отцом ребенка, родившегося вне брака. Матерью его сына, окрещенного Людвигом, была Христиана Буркхардт, жена хозяина дома, в котором проживал философ. В маленьком городе любая новость распространяется мгновенно и в течение долгого времени занимает умы обывателей. Гегель не отказывался от сына, но он понимал, что в результате случившегося путь к профессорской должности в Йене для него закрыт. Христиана без скандала

отпустила Гегеля, удовлетвоствовавшись обещанием жениться на ней в том случае, если она овдовеет. Людвиг был ее третьим внебрачным ребенком.

По дороге в Бамберг Гегель обдумывал планы своей новой деятельности. О «Бамбергской газете» он знал только то, что она существует немногим более десяти лет, что основал ее французский эмигрант аббат Глэ, который вскоре продал ее нынешнему владельцу Шнайдербангеру, но остался работать в качестве редактора. После прихода французов Глэ бросил журналистику, присоединился к войскам Даву и ныне ищет счастья где-то в Польше. Шнайдербангер, в прошлом придворный кучер, сам дело вести не мог, и газета пришла в упадок.

Гегель знал, как исправить положение. Образцом ежедневной газеты является, конечно, парижский «Монитёр». Здесь можно получить не только наиподробнеешую информацию, но и богатую пищу для мыслящего ума, сообщения всегда сочетаются с соображениями редакции, комментариями, анализом обстановки. Немецкие газеты всего лишь педантичные реестры событий. Правда, читатель привык именно к этому, но Гегель постепенно перевоспитает публику, привыет ей вкус к размышлению. Терпения и такта у него достанет. Что касается его политической программы, то ее можно выразить двумя словами: французская конституция.

Все эти соображения он изложил владельцу газеты при первом же серьезном разговоре. Шнайдербангер выслушал Гегеля, затем стал невнятно бормотать, что он целиком полагается на господина профессора, на его опыт и знания. От того, как удастся поладить с подписчиками и начальством, зависит судьба четырех человек: издателя, редактора и двух типографских рабочих. Шнайдербангер вынул из стола папку, в которой были собраны накопившиеся за много лет правительственные эдикты, указы, инструкции и разъяснения, касающиеся печати. Гегель взял ее к себе и, освободившись от дел по очередному номеру, приступил к изучению директивных материалов.

Эдикт курфюрста Максимилиана Иосифа: «...Не устанавливая слишком узких рамок для разумной свободы, но во избежание злоупотреблений...» Гегель пробежал глазами вступительную часть. Оказывается, пресса подчинена департаменту иностранных дел. Интересно узнать, почему. Неужели печать в первую очередь орудие внешней политики? В эдикте перечислялись обязанности журналистов: «...Воздерживаться от непристойной брани и крепких выражений по адресу августейших особ и всех существующих правительств...

Факты излагать по возможности просто, без каких-либо замечаний и рассуждений». Гегель взял другой документ, сразу нашел самое главное: «Газеты должны содержать только точные и беспристрастные сообщения о фактах, следует полностью исключить любые намеки и колкости». Итак, разрешена только информация. Но и информация, оказывается, бывает разной: «...Журналистам запрещается распространение известий, которые могут нанести ущерб государству...»

Оба документа относились к 1799 году, к тем временам, когда Бонапарт воевал еще в Египте. С тех пор многое переменялось, должны быть дополнения и разъяснения. Гегель перевернул кипу бумаг. Вот указ от 17 февраля 1806 года: «Поскольку на основании имеющихся данных у нас сложилось неблагоприятное убеждение в том, что наша изданная в 1799 году инструкция о порядке выхода в нашем государстве политических изданий не соблюдается, мы обновляем таковую и приказываем...» Далее шла речь об усилении контроля. Кажется, законы истории и законы о печати шли различными путями. Однако указ появился в прошлом году, до последней войны, перекроившей карту Европы. Теперь Бавария — верная союзница Франции, повсюду в Германии реют трехцветные знамена. Гегель взял в руки последний листок, на нем стояла свежая дата. Это был приказ французского генерала Этьена Ле Грана о закрытии «Эрлангенской газеты» и об аресте ее редактора за «распространение ложных новостей и комментариев, которые могут нарушить покой общества». Картина полностью прояснилась.

Наполеон придавал прессе большое значение, но желал видеть ее под своим контролем. «Газеты — важное дело», — сказал он Жозефу Фуше, министру полиции, распорядившись после захвата власти о закрытии шестидесяти газет из семидесяти трех, выходивших в Париже. Потом было закрыто еще девять. Оставшиеся четыре выражали правительственную точку зрения.

Гегель, решив заняться политикой, трезво оценивал обстановку: единственная реальная политическая сила в стране — государство, следовательно, надо не расшатывать, а укреплять, совершенствовать его устои. «Каждый должен находиться в определенном отношении к государству и работать на него, — писал он Нитхаммеру. — Удовлетворение от частной жизни призрачно и недостаточно! Я не намерен ограничиться только личной жизнью, ибо нет человека больших общественных интересов, чем газетчик»¹. Пусть баварское государство далеко от совершенства, пусть во главе его стоят неразумные люди — рано или поздно разум и здесь

проложит себе дорогу. В конце концов не так уж важно, какие конкретные цели ставит перед собой человек, все равно в итоге получается нечто иное, чего не было в его намерениях, но объективно содержалось в его поступках.

Гегель — бонапартист. Это сказывается на облике «Бамбергской газеты», на подборе материалов, на их комментировании, на редакционных статьях. Читателю настойчиво внушается мысль о благородстве наполеоновской армии. В номере от 21 марта Гегель публикует сообщение о том, что в немецком городе Херсфельде жителями был убит французский офицер. Император приказал разграбить и сжечь город. По ходатайству коменданта наказание было смягчено — сжечь только четыре дома, но город разграбить. В назначенный день гарнизон был выстроен, и комендант, объявив волю Наполеона, предложил желающим сделать шаг вперед. Никто не пошевелился. И на повторную команду никто не отозвался. Обрадованные жители не знали, как им благодарить коменданта, но тот отказался от всех подарков, согласившись принять лишь памятную медаль, чтобы подарить ее своей невесте. Гегель предлагает читателям сравнить это сообщение с тем, что накануне его газета напечатала о случае под Белостоком, где казаки жестоко отомстили польским крестьянам, отбившим у них трех пленных французов.

Прусское правительство опубликовало официальный отчет о поражении под Йеной и Ауэрштедтом. Признавая военное превосходство противника, пруссаки отмечали храбрость своих военачальников: принц Луи Фердинанд и герцог Брауншвейгский погибли в бою, два брата короля получили ранения, под королем убита лошадь. Это сообщение Гегель снабдил язвительным комментарием: личная храбрость побежденного может оправдать его в глазах современников, но потомкам важен результат. «Глава народа должен быть вождем, оплачивать жизнью участие в сражении — доблесть солдата, а не монарха».

В августе 1807 года газета «Всеобщий немецкий вестник» в рубрике «Смесь» поместила коротенькую заметку о том, как в Атлантическом океане была поймана гигантская акула, из живота которой извлекли только что ею проглоченного дельфина. В животе дельфина в свою очередь обнаружили свежепроглоченную рыбу. «Пожирать и быть пожранным — не в этом ли состоит смысл всех политических экспансий и завоеваний?»

Гегель узрел в заметке намек на Наполеона и поспешил дать отповедь. Конечно, писала «Бамбергская газета», автор заметки имеет право на личное мнение по любому вопросу,

но, «спрашивается, возможно ли, чтобы в год сражений под Эйлау и Фридрихсдорфом, в час возрождения нашего немецкого отечества официальная газета Рейнского Союза предоставляла место для статей, которые ничтоже сумняшеся извлекают выводы из кишечника акулы».

«Вестник» не остался в долгу. Он намекнул, что реплика «Бамбергской газеты» граничит с доносом, имеющим целью нанести вред «Вестнику» и его редактору, и задал в свою очередь вопрос: «Каким образом в год сражений под Эйлау и Фридрихсдорфом, в час возрождения нашего отечества газета, занимающаяся важными вопросами современности, находит место для “паучьей пачкотни”?»

Последнее слово осталось за Гегелем. Он ответил сдержанно, сразу переведя разговор в серьезную плоскость. «В год сражений под Эйлау и Фридрихсдорфом» нельзя равнодушно наблюдать, как официальная газета Рейнского Союза ведет себя недостойным образом. И Гегель указал номер «Вестника», в котором содержалась статья, отстаивающая прусские интересы. «Вестнику» пришлось умолкнуть.

В те времена телеграфных агентств не существовало. Новости ползли медленно. Каждая газета добывала их на свой страх и риск. Чтобы расширить источники информации, Гегель разослал своим друзьям и знакомым письма с просьбой о сотрудничестве. Написал он и отставному майору Кнебелю в Иену, объяснил ему, каким образом стал журналистом («у меня всегда была склонность к политике»), пожаловался на необычный характер своего положения («газетчик является предметом любопытства и даже зависти: каждый стремится узнать то, что тому известно по секрету, что должно быть самым интересным») и предложил старому эпикурейцу стать корреспондентом «Бамбергской газеты» («я знаю: писать для газеты — это то же самое, что жевать солому по сравнению с чеканкой философских гексаметров Лукреция, но согласно философии Эпикура нельзя пренебрегать перевариванием пищи, а чтение газет — лучшее в этом подспорье; поэтому я полагаю, что вы сможете уделить четверть часа в день для сочинения корреспонденции и превратитесь из пассивного читателя в активного»), не забыв, разумеется, и о материальной стороне дела («я на своем опыте убедился в истинности библейского изречения, которое сделал своей путеводной звездой: думайте прежде всего о пропитании и одежде, а царствие небесное приложится вам... О гонораре мы договоримся»)².

Кнебель решительно отказался. Однако в дни Эрфуртской встречи Наполеона и Александра, когда взоры всего ми-

ра были прикованы к Средней Германии, Кнебель прислал два интересных письма, содержавших актуальные политические новости. Он описал глазами очевидца пребывание Наполеона и «прочих монархов и князей» в Веймаре. Утром гости отправились на охоту, французский и русский императоры ехали в открытой коляске, запряженной четверкой лошадей в окружении блестящей свиты, впереди верхом герцог Веймарский. Вечером высочайшее общество собралось в театре, где актеры Парижского императорского театра сыграли «Смерть Цезаря» Вольтера. Праздничный день закончился балом во дворце. На следующее утро монархи осмотрели поле битвы под Йеной. И завтракали в павильоне, выстроенном веймарским правительством («правда, из дерева, так как мрамора здесь нет и средств для этого тоже») на том месте, где был командный пункт Бонапарта.

«Я бы хотел сообщить Вам еще кое о чем — разумеется, не для статьи в газете: речь идет о том, что Вас, пожалуй, заинтересует больше всего. Великий Наполеон завоевал сердца всех людей, особенно мыслящих, причем это совершенно не зависит от величия и власти, и любовь эта должна быть отнесена скорее к человеку, чем к императору. В его облике находят выражение некоторой меланхолии, что согласно Аристотелю является главной чертой всякого великого человека и характера, и не только черты великого ума, но и истинную доброту душевную, которую ничуть не уменьшают силы его великих стремлений и деяний. Короче говоря, он наполняет людей энтузиазмом. Он уже два раза беседовал с нашим Гёте...»³

Преклонение перед императором Франции не могло ни удивить, ни шокировать Гегеля. Он сам был полон энтузиазма, с жадностью читал письма Кнебеля и требовал новых подробностей: «Принимали ли Вы участие в охоте на зайцев? Были ли на завтраке в павильоне на плато? О чем говорил Наполеон в беседе с Виландом и Гёте на балу?.. Все это я спрашиваю не для газеты, а для себя самого»⁴.

Гёте, опасаясь сплетен, хранил молчание по поводу своих бесед с Наполеоном (даже запись он сделал лишь пятнадцать лет спустя). Но встречались они не наедине, и присутствовавшие при аудиенции жадно ловили слова и французского императора, и немецкого поэта. При взятии Веймара в октябре 1806 года Гёте пришлось пережить примерно то же, что Гегелю в Йене, — пожары, грабеж, насилия; он чуть не погиб, когда ночью два пьяных гренадера прямо с поля битвы ворвались в дом и хотели воспользоваться его спальней. Но, как и Гегель, Гёте умел мировую

историю поставить выше личной судьбы. К тому же вскоре ему была выдана охранный грамота, с ним обедали маршалы, а теперь сам император пожелал с ним встретиться.

Владыка Европы приветствовал Гёте комплиментом: «Вы настоящий человек»; он называл его «мосье Гот», что для немецкого уха звучало: «господин Бог». Наполеон расхваливал «Страдания молодого Вертера» (эта книга сопровождала его в египетском походе), но отметил и ряд имеющихся в романе недостатков. Автору пришлось согласиться. Разговор шел и о драматическом искусстве; Наполеон высказался критически о «Магомете» Вольтера: не пристало преобразователю мира давать самому себе столь нелестную характеристику; вообще французский театр далек от жизненной правды. Император предложил Гёте написать заново «Смерть Цезаря», но сделать это лучше, чем Вольтер. «Труд этот должен стать главной задачей вашей жизни. Вы должны показать всему миру, что Цезарь осчастливил бы человечество, если бы ему дали время осуществить свои планы». Трагедия предназначена для того, чтобы быть школой государей и народов. Но не древняя трагедия судьбы, возникшая в мрачные времена. «Какой смысл сегодня имеет судьба? Политика — вот судьба». И Наполеон начал тут же обсуждать с приближенными проблему военной контрибуции. Затем он посоветовал Гёте сочинить стихи об Эрфуртской встрече и посвятить их русскому царю. Гёте ответил, что он никогда не делал подобных вещей, дабы не раскаиваться в них впоследствии. «При Людовике Четырнадцатом наши великие поэты поступали иначе». — «Разумеется, сир, однако неизвестно, не раскаивались ли они в этом». Политика Наполеона стала судьбой для Германии. Но не неотвратимым роком древних, а исторической необходимостью, которая проявляется в случайностях, может быть познана, дополнена и исправлена. Бонапарт верил в свою звезду, но предпочитал не делать ошибок. И его беседа с Гёте была прежде всего рассчитана на то, чтобы расположить в свою пользу немецкое общественное мнение.

Ибо далеко не все в Германии думали так, как Гёте и Гегель. Война должна кормить себя сама, повторял Наполеон; это означало, что все расходы победителей-французов ложились на плечи побежденных пруссаков и их союзников. Континентальная блокада, с помощью которой Наполеон намеревался поставить на колени Англию, разоряла купцов, взвинчивала цены, вызывала всеобщее недовольство. Разгром Пруссии воспринимался многими как общенемецкое поражение.

Зимой 1807/08 года Фихте в поверженном Берлине читал курс лекций — «Речи к немецкой нации». Фихте говорил о преодолении эгоизма и нравственном воспитании, о патриотизме и немецкой самобытности, но его слушатели (не только аудитория, собиравшаяся в конференц-зале Академии наук, вся образованная Германия) понимали: речь идет о необходимости осознать причины краха и найти силы для борьбы за национальное единство и освобождение. В Берлине стоял французский гарнизон, только что по обвинению в антифранцузской деятельности расстреляли книготорговца Пальма; Фихте тщательно взвесил все «за» и «против», по свойственной ему привычке изложил свои мысли на бумаге: «То, что мне лично угрожает опасность, вовсе не идет в счет, а скорее может произвести весьма выгодное впечатление. Моя же семья и мой сын не останутся без помощи нации, а последний обретет преимущество в том, что его отец был мучеником. Это был бы самый лучший жребий». Ежедневно ждали ареста Фихте, но этого так и не произошло. Он умер через шесть лет, заразившись злокачественной лихорадкой от своей жены, ухаживавшей в госпитале за ранеными и больными солдатами. «Его основной чертой был избыток силы», — говорили о Фихте.

Гегель и Фихте — два полюса немецких политических настроений, в которых нашло выражение двойственное значение для Германии наполеоновских завоеваний; с одной стороны, они устраняли феодальный застой и партикуляризм, но, с другой — несли новый деспотизм. Гегель и Фихте — каждый из них прав по-своему. Верх возьмет правда Фихте. Но это еще впереди.

Пока ничто не свидетельствует о будущем крушении империи. Гегель по-прежнему издает «Бамбергскую газету», правда, уже не с тем рвением, что вначале. Чем дальше, тем больше разочарований. Осложнения начались летом 1808 года. В одном из июльских номеров «Бамбергской газеты» появилось сообщение о том, что баварские войска расположены в трех лагерях: Платтлинге, Аугсбурге и Нюрнберге. Об этом все знали, об этом уже писали другие газеты, тем не менее из Мюнхена пришло требование назвать имя офицера, который передал редакции сведения, содержащие военную тайну. Никакие объяснения не помогали, долго шла переписка. Гегель вынужден был посещать официальные инстанции, писать объяснительные записки, оправдываться и в довершение всего успокаивать Шнайдербангера. В конце концов Гегель не выдержал и написал влиятельному Нитхаммеру, что хочет бежать с «газетной каторги». Нитхаммер

предложил место директора гимназии в Нюрнберге. Гегель немедленно согласился.

Однако переход на педагогическую работу занял некоторое время. Между тем приключилась новая история, сулившая газете еще большие неприятности. В начале ноября Гегеля неожиданно вызвали к королевскому генеральному комиссару барону Штенгелю. Из Мюнхена пришла депеша, в которой выражалось высочайшее неудовольствие по поводу напечатанной в «Бамбергской газете» 26 октября корреспонденции из Эрфурта. Цензору объявлялся выговор. Впредь цензура газеты возлагалась непосредственно на Штенгеля.

В редакции Гегель ломал голову над злополучной корреспонденцией: что могло в ней вызвать августейший гнев? Начиналась она с сообщения об аудиенции Гёте и Виланда у Наполеона, в ходе которой «шла речь о научных вопросах, и оба имели возможность убедиться в глубочайших познаниях его величества в самых разнообразных сферах науки». Здесь нет ничего предосудительного. «Гёте и Виланд награждены орденом Почетного легиона». Здесь тоже все в порядке. Может быть, предосудительным нашли сообщение о слухах, будто Эрфурт останется вольным городом и будет произведена реформа почтового дела? Скорее всего именно это: пресса должна не распространять слухи, а пресекать их.

Гегель принялся за составление пространной объяснительной записки. Он ссылался на то, что все напечатанные материалы были заимствованы из других газет. «В соответствии с Вашим всемилостивейшим приказом от 7-го числа указать официальные источники, из которых была получена статья из Эрфурта, помещенная в № 300 от 26 октября “Бамбергской газеты”, нижеподписавшийся редактор всепочтеннейше признает, что материал для вышеупомянутой статьи был слово в слово взят из выходящего в Эрфурте “Всеобщего немецкого государственного курьера” и из поступающей из Готы “Национальной газеты”... Поскольку эрфуртская газета издается в государстве, подчиняющемся правительству его величества императора Франции, а газета в Готе — в государстве, входящем в Рейнский союз, и обе находятся под гласной цензурой, то нижеподписавшийся редактор газеты не имел сомнений в возможности перепечатать статьи из этих газет... Вскоре, однако, в редакции с беспокойством узнали, что опубликованные в статье слухи породили неправильные толкования, которые она решила немедленно устранить. Поэтому редакция при первой же возможности в приложении к “Бамбергской газете” от 27 октября в № 301 сделала следующее замечание по поводу подобных слухов:

“Время покажет, являются эти известия более обоснованными, чем циркулирующие в Германии разговоры (некоторые из них, опубликованные в немецкой прессе, мы привели вчера в нашей газете) о том, что Эрфурт останется вольным городом, что следует ожидать реформы почтового дела и т. п., которые являются пустыми слухами, не опирающимися ни на какой авторитет”⁵. Гегель уверял, что газета ни в чем не повинна, и просил пощады. Он обещал в дальнейшем благодаря неукоснительному исполнению всех поступающих в редакцию приказов устранить любой повод, который мог бы вызвать высочайшее неудовольствие.

Философ так и не узнал истинную причину обрушившихся на газету бедствий. Он оправдывался по поводу высокой политики, а между тем все обстояло гораздо проще. Начальственная рука обвела красным карандашом следующее предосудительное место из эрфуртской корреспонденции: «Господин коммерсант Гофман получил от его величества короля Баварии золотую табакерку, украшенную жемчугами, а супруга и мадемуазель дочь по красивому ожерелью каждая. Его величество король Вюртемберга преподнес госпоже придворной советнице Рейнгардт, помимо значительной суммы денег, еще и драгоценности»⁶. Пресса не должна акцентировать внимание на подарках августейших особ, тем более если речь идет о женщинах. Впрочем, цензурные инструкции об этом умалчивали.

Штенгель переслал объяснительную записку в Мюнхен. Одновременно генеральный комиссариат направил в правительство запрос о том, какие известия из официальных источников следует считать действительно официальными и подлежащими перепечатке и как быть с неофициальными материалами: «Следует ли считать недозволенными все статьи, опирающиеся на приватные сообщения, которые описывают необычные явления природы, открытия в науке и искусстве, жизнь, деятельность, награды и отличия знаменитых военных, художников и ученых и содержат факты, при помощи которых газета может способствовать укреплению гражданских добродетелей и расширению образования»⁷.

К составлению этой бумаги, которая должна была продемонстрировать интерес бамбергской администрации к существованию проблемы, приложил свою руку Гегель. Исход конфликта его беспокоил: в памяти еще не истерлась судьба редактора «Эрлангенской газеты». Со дня на день должно было состояться назначение в Нюрнберг, и любое взыскание могло бы испортить дело.

Шли дни. Ответа из Мюнхена не было. По совету Гегеля Штенгель повторил запрос. Лишняя бумага делу не повредит: ее нужно зарегистрировать, прочитать, осмыслить, а оттяжка окончательного решения всегда на пользу ответчику. Впрочем, Гегель уже не нуждался в проволочках: он упаковывал вещи. А когда в начале декабря Шнайдербангер послал в Мюнхен новый запрос, на этот раз непосредственно от редакции, философа в Бамберге уже не было.

Ответ поступил только в январе. Министерство иностранных дел разъясняло, что «Бамбергская газета» имеет право перепечатывать статьи из подцензурных газет, выходящих в главных городах королевства, при условии, что эти сообщения не противоречат «сложившейся ситуации». Почти одновременно департамент полиции сообщал о закрытии «Бамбергской газеты».

* * *

Двадцать один месяц, проведенный Гегелем в Бамберге, не ознаменовался ни одной теоретической публикацией. И все же несправедливо считать это время потерянным для его философского развития. Мысль Гегеля продолжала конструировать систему, начало которой было положено «Феноменологией духа». Почти весь рабочий день отбирала у него газета, но тем интенсивнее посвящал он остававшиеся часы любимым занятиям. В письмах содержатся свидетельства о работе над логикой, об этом же говорят и сохранившиеся фрагменты. Идеи, зародившиеся в Йене, обретают стройность и строгость.

В Бамберге возник любопытный фрагмент, показывающий Гегеля с необычной стороны — как блестящего популяризатора собственного учения. Фрагмент называется «Кто мыслит абстрактно?». Издатели гегелевского наследия отнесли его к последнему, берлинскому периоду творчества, вместе с тем и стиль и содержание этого эссе говорят о его раннем происхождении. Недавно удалось доказать, что отрывок был написан весной или ранним летом 1807 года⁸.

Итак, кто же мыслит абстрактно? К абстрактному мышлению люди питают известное почтение как к чему-то возвышенному, его избегают не потому, что презирают, а потому, что возвеличивают, потому, что принимают за нечто особенное, чем в обществе выделяться неприлично. А между тем на самом деле абстрактно мыслит не просвещенный, а необразованный человек. Абстрактно примитивное мышление.

«В обоснование своей мысли, — пишет Гегель, — я приведу лишь несколько примеров, на которых каждый сможет убедиться, что дело обстоит именно так. Ведут на казнь убийцу. Для толпы он убийца, и только. Дамы заметят, может статься, что он сильный, красивый, интересный мужчина. Такое замечание возмутит толпу: как так? убийца — красив? Можно ли думать столь дурно, можно ли называть убийцу красивым? сами небось не лучше! — Это свидетельствует о моральном разложении знати, — добавит, быть может, священник, привыкший глядеть в глубину вещей и сердец.

Знаток же человеческой души рассмотрит ход событий, сформировавших преступника, обнаружит в истории его воспитания, как дурно повлияли на него семейные ссоры между отцом и матерью, увидит, что некогда этот человек был наказан за какой-то незначительный проступок с чрезмерной суровостью, ожесточившей его против гражданского порядка, вынудившей к сопротивлению, которое и привело к тому, что преступление сделалось для него единственным способом самосохранения. Почти наверняка в толпе найдутся люди, которые — доведись им услышать такие рассуждения — скажут: да он хочет оправдать убийцу! Помню же я, как некий бургомистр жаловался в дни моей юности на писателей, подрывающих основы христианства и правопорядка; один из них даже осмелился оправдывать самоубийство — подумать страшно! Из дальнейших разъяснений выяснилось, что бургомистр имел в виду “Страдания молодого Вертера”.

Это и называется “мыслить абстрактно” — не видеть в убийце ничего, кроме того, что он убийца, и подобным абстрактным определением уничтожить в нем все остальное, что составляет человеческое существо...

— Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — говорит покупательница торговке.

— Что? — кричит та. — Мои яйца тухлые?! Сама ты тухлая! Ты мне смеешь говорить такое про мой товар! Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве заели, не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне! Ишь, целую простыню на платок извела! Знаем небось, откуда все эти тряпки да шляпки! Если бы не офицеры, не шеголять тебе в нарядах! Порядочные-то за своим домом следят, а таким самое место в каталажке! Дырки бы на чулках заштопала!

Короче говоря, она и крупницы доброго в обидчице не замечает. Она-то мыслит абстрактно — сводит все, от шляпки до чулок, с головы до пят, вкупе с папашей и остальной родней, исключительно к тому преступлению, что та нашла ее

яйца тухлыми. Все окрашивается в ее голове в цвет этих яиц, тогда как те офицеры, которых она упоминала, — если они, конечно, и впрямь имеют сюда какое-нибудь отношение, что весьма сомнительно, — наверняка заметили бы в женщине совсем иные детали.

Но оставим в покое женщин; возьмем, например, слугу — нигде ему не живется хуже, чем у человека низкого звания и малого достатка; и, наоборот, тем лучше, чем благороднее его господин. Мещанин и тут мыслит абстрактно, он важничает перед слугой и относится к нему только как к слуге; он крепко держится за этот единственный предикат. Лучше всего живется слуге у француза. Аристократ фамильярен со слугой, а француз ему даже добрый приятель. Слуга, когда они остаются вдвоем, болтает всякую всячину, а хозяин покуривает себе трубку да поглядывает на часы, ни в чем его не стесняя, — как о том можно прочесть в повести “Жак и его хозяин” Дидро. Аристократ, кроме всего прочего, знает, что слуга не просто слуга, что ему известны все городские новости и девицы, и затеи его голову посещают неплохие, обо всем этом он слугу расспрашивает, и слуга может свободно говорить о том, что интересует хозяина. У барина-француза слуга смеет даже рассуждать, иметь и отстаивать собственное мнение, а когда хозяину что-нибудь от него нужно, так он не просто отдает приказание, а сначала подробно втолкует слуге свою мысль, да еще убедит его в том, что лучше и придумать невозможно»⁹.

Гегель отнюдь не против научных абстракций. Он только показывает, что абстрактным, то есть отвлеченным, односторонним может быть и самое обыденное житейское сознание, и чаще всего оно бывает именно таким. Естественно, перед нами встает вопрос: а может ли научное, теоретическое мышление быть конкретным, и если да, то каким образом? Попытки решить эту проблему занимают центральное место в учении Гегеля. Но об этом — в следующей главе.